



## Глава 1

*Начало февраля 2011 года*

### *Айра*

Иногда мне кажется, что я последний в своем роде.

Меня зовут Айра Левинсон. Я южанин и еврей и в равной мере горжусь тем, что во мне время от времени замечают оба эти признака. А еще я глубокий старик. Я родился в 1920 году — в том самом году, когда объявили сухой закон, а женщины получили право голосовать. Я часто задумывался, не потому ли моя жизнь обернулась именно так. В конце концов, я никогда не злоупотреблял спиртным, а женщина, на которой я женился, встала в очереди к избирательной урне, чтобы проголосовать за Рузвельта, как только достигла необходимого возраста. Сам собой напрашивается вывод, что дата моего рождения каким-то образом предопределила все это.

Отец поднял бы меня на смех. Он верил в незыблемые правила. «Айра, — говорил он, когда я был моложе и работал с ним в галантерейном магазине, — я скажу тебе, чего ты никогда не должен делать». «Правила жизни» — вот как он называл свои наставления. Я буквально вырос под их аккомпанемент. Некоторые из них касались морали и уходили корнями в учение Талмуда;

наверное, именно такие постулаты большинство родителей внушают своим детям. Нельзя лгать, заниматься мошенничеством, красть и так далее. Но отец — «периодический еврей», как он сам выражался, — больше внимания уделял практическим моментам. «Не выходи в дождь без шляпы, — говорил он. — Не трогай конфорку плиты, вдруг она горячая». Я узнал, что никогда не следует пересчитывать деньги на людях или покупать украшения с рук, какой бы выгодной ни казалась сделка. Эти «никогда» тянулись без конца, но, несмотря на их хаотичность, я следовал почти всем правилам, может быть, потому что не хотел разочаровывать отца. Даже сейчас его голос сопровождает меня в долгой прогулке, которая называется жизнью.

Сходным образом отец частенько объяснял, что я должен делать. Он ожидал от меня честности и прямо-ты в любых жизненных ситуациях, а еще учил придерживать дверь перед женщинами и детьми, крепко жать руку при знакомстве, запоминать имена и всегда давать клиенту чуть больше, чем он ожидает. Со временем я понял: эти правила не только лежали в основе жизненной философии, которая сослужила отцу хорошую службу, но и прекрасно давали понять, что он за человек. Поскольку сам он верил в честность и прямоту, то полагал, что и другие люди таковы. Отец верил в человеческую порядочность и думал, что прочие живут точно так же. Он считал, что большинство людей, если дать им выбор, поступят правильно даже в трудной ситуации и что добро всегда восторжествует над злом. Впрочем, наивен он не был. «Верь людям, — говорил отец, — пока они не дадут тебе повода разувериться. Но и после этого никогда не поворачивайся спиной».

Мой отец более чем кто-либо повлиял на то, каким я стал.

Но война подкосила его. Точнее, холокост. Рассудок у отца остался прежним — он мог разгадать кроссворд

в «Нью-Йорк таймс» меньше чем за десять минут — зато вера в людей пошатнулась. Мир, который он якобы знал, вдруг утратил всякий смысл, и отец сильно изменился. Тогда ему было под шестьдесят; он взял меня партнером в дело и почти перестал заходить в магазин, зато стал полноценным иудеем. Вместе с матерью — о ней я расскажу потом — отец начал регулярно бывать в синагоге и жертвовать средства на бесчисленные еврейские вопросы. Он отказывался работать по субботам. С интересом следил за новостями, касающимися провозглашения независимости Израиля, и за арабо-израильской войной, которая последовала в результате. Стал ездить в Иерусалим, по крайней мере раз в год, как будто ища нечто недостающее в жизни. Когда отец состарился, я сильно беспокоился из-за этих дальних поездок, но он заверял, что способен о себе позаботиться, — и много лет так оно и было. Несмотря на почтенный возраст, его ум оставался по-прежнему острым, но, к сожалению, тело сдавало. Когда отцу стукнуло девяносто, он пережил сердечный приступ; хотя он и оправился, второй удар, полгода спустя, привел к частичному параличу правой стороны туловища. Но все равно он настаивал, что может сам о себе позаботиться. Отец отказался перебраться в дом престарелых, пусть даже ему приходилось передвигаться при помощи ходунков, и продолжал водить машину, несмотря на мои мольбы и опасения, что его лишат прав. Я твердил, что это опасно, а отец только пожимал плечами.

«А что я могу сделать? — спрашивал он. — Как еще добраться до магазина?»

Он умер через месяц после того, как ему исполнился сто один год. В отцовском бумажнике по-прежнему лежали водительские права, а на столике рядом с кроватью — разгаданный кроссворд. Он прожил долгую интересную жизнь, и в последнее время я часто о нем думаю. Наверное, это логично, потому что я шел по его

стопам. Я держал в уме «Правила жизни», когда открывал магазин по утрам и общался с людьми. Я запомнил имена и давал клиентам больше, чем они ожидали. До нынешнего дня я не выхожу из дому без шляпы, если есть угроза дождя. Как и отец, я пережил сердечный приступ и теперь передвигаюсь с ходунками; но рас­судок меня не подводит. Как и отец, я слишком упрям, чтобы отказаться от водительских прав. Впрочем, если хорошенько подумать, здесь я, возможно, был не прав. Иначе я бы не оказался в столь затруднительном положении. Моя машина слетела с дороги в глубокий кювет, капот помялся от столкновения с деревом. Если бы не мое упрямство, я бы теперь не мечтал о появлении спасателей с полным термосом кофе, одеялом и передвижным тронem, на котором меня понесут, как фараона. Потому что, насколько я могу судить, это единственный способ выбраться отсюда живым.

Я в беде. За треснутым стеклом продолжает идти снег, застилая все вокруг. Голова в крови, тошнота под­катывает волнами, я почти уверен, что правая рука сло­мана. Ключица тоже. Плечо ноет, и малейшее движе­ние причиняет страшную боль, я дрожу от холода. Хоть я и в пальто.

Я солгу, если скажу, что мне не страшно. Я не хочу умирать, а благодаря родителям — мама дожила до де­вяноста шести лет — уже давно понял, что генетически запрограммирован на долгую жизнь. Всего лишь не­сколько месяцев назад я искренне полагал, что протяну еще как минимум лет пять. Возможно, это будут не луч­шие годы — в моем возрасте полного порядка с само­чувствием не бывает. Я начал потихоньку рассыпаться на части — отказывают суставы, сердце, почки и прочие части организма, — но недавно добавилось и еще кое­что. Образования в легких, как сказали врачи. Опухоль. Рак. Мне осталось жить месяцы, а не годы... но в любом случае я еще не готов умирать. Только не сегодня. Я кое-

что должен сделать — то, что делал регулярно, начиная с 1956 года. Давняя традиция скоро уйдет в прошлое, и я мечтал о возможности с ней попрощаться.

Все-таки странно, о чем человек думает, когда полагает, что смерть неизбежна. Одно я знаю наверняка: хоть мне и осталось недолго, я бы предпочел умереть по-другому, чтобы не было трясущихся рук, ходящих ходуном челюстей и ожидания, когда наконец откажет сердце. В моем возрасте я успел побывать на бесчисленных похоронах — и, будь у меня выбор, я бы предпочел скончаться во сне, дома, в уютной постели. Люди, которые умирают именно так, неплохо выглядят, поэтому, раз уж я чувствую за плечом присутствие Мрачного Жнеца, надо, собрав силы в кулак, перебраться на заднее сиденье. Меньше всего я хочу, чтобы меня нашли заочневшим сидя, похожим на дурацкую ледяную скульптуру. Да и как они тогда извлекут из машины мой труп? Поскольку я зажат между рулем и сиденьем, это все равно что выносить фортепиано из ванной. Я представляю себе спасателей, которые скалывают лед и дергают туда-сюда, приговаривая: «Поверни ему голову, Стив» и «Давай руку сюда, Джо», пытаюсь вытащить мое застывшее тело из машины. Они будут бить и стучать, толкать и тянуть, пока наконец от очередного рывка я не свалюсь наземь. Нет уж, спасибо. У Айры еще осталась гордость. Поэтому, раз уж дело плохо, я попытаюсь добраться до заднего сиденья, лягу и просто закрою глаза. Тогда они запросто достанут меня, как рыбную палочку из пакета.

Но может быть, умирать и не придется. Кто-нибудь заметит следы колес на дороге, ведущие в кювет, остановится, чтобы попытаться помочь, и увидит, что там внизу машина. Ничего невероятного, вполне возможный вариант. Идет снег, водители едут медленно. Разумеется, кто-нибудь меня найдет. Обязательно.

Ведь так?

\* \* \*

Не исключено, что я ошибаюсь.

Снег продолжает идти. Дыхание на воздухе превращается в пар, как будто я дракон, а тело болит от холода. Но могло быть хуже. Когда я выезжал из дому, на улице подморозило, хотя снег не шел, поэтому я оделся по-зимнему: две рубашки, свитер, перчатки, шляпа.

Машина стоит под углом, носом книзу. Я по-прежнему пристегнут ремнем безопасности, который поддерживает вес тела, но голова лежит на руле. Подушка безопасности раскрылась, распространив вокруг белую пыль и едкий запах пороха. Неприятно, но я терплю.

Но тело болит. Подушка, похоже, сработала не сразу, потому что я ударился головой о руль и потерял сознание. Не знаю, сколько я так пролежал. Рана на голове продолжает кровоточить, кости правой руки как будто пробиваются сквозь кожу. Ключица и плечо ноют, и я боюсь пошевелиться. Убеждаю себя, что могло быть хуже. Хотя и идет снег, снаружи не так уж холодно. Сегодня вечером температура понизится до минус пяти, а завтра поднимется до плюс трех. Обещают ветер, порывы которого будут достигать двадцати миль в час. В воскресенье ветер еще усилится, но к вечеру понедельника погода постепенно улучшится. К тому времени холодный фронт переместится, и ветер стихнет почти полностью. Во вторник потеплеет до плюс десяти.

Я знаю это, потому что смотрю «Погодный канал». Он гораздо увлекательнее новостей. Там не только сообщают прогноз на завтра, но и рассказывают о катастрофических погодных явлениях в прошлом. Я видел сюжет о людях, которые находились в ванной, когда торнадо сорвал дом с фундамента, и слышал рассказы потерпевших, которых спасли от наводнения. Герои этих сюжетов — выжившие после катастроф. И мне нравится заранее знать это. В прошлом году я видел сюжет о пассажирах, которых в Чикаго застигла снежная буря.

Снег сыпался так быстро, что дороги завалило, в то время как тысячи людей еще находились в пути. Восемь часов они просидели в машинах, не имея возможности тронуться с места, пока не потеплело. В передаче показали двоих пострадавших, и меня поразило то, что перемена погоды застала их врасплох. Оба чуть не умерли от переохлаждения, когда разразилась метель. Честно говоря, я чего-то не понимаю. Те, кто живет в Чикаго, знают, что снег там идет регулярно; они раз за разом переживают снежные бури, которые налетают из Канады. Они должны понимать, что в таком случае становится холодно. Как можно этого не знать? Если бы я жил в Чикаго, то с ноября возил бы в багажнике теплые одеяла, шапку, запасную зимнюю куртку, перчатки, лопату, фонарик, грелку для рук и бутылку с водой. И мне бы ничего не стоило провести под снежным завалом две недели.

Моя проблема, впрочем, в том, что живу я в Северной Каролине. И обычно, когда я сажусь за руль — не считая ежегодной поездки в горы, которая, как правило, бывает летом, — то не отъезжаю от дома дальше чем на несколько миль. Поэтому в моем багажнике пусто; но меня отчасти утешает тот факт, что будь там даже портативный отель, он бы мало чем помог. Склон обледенелый и крутой, и я ни за что не сумел бы добраться до багажника, даже если бы он содержал сокровища Тутанхамона. И все-таки я не то чтобы совсем не подготовлен к чрезвычайной ситуации. Прежде чем выехать из дома, я прихватил полный термос кофе, два сэндвича, пакет чернослива и бутылку воды. Еда лежала на пассажирском сиденье, рядом с письмом, и, хотя во время аварии все разлетелось по салону, приятно сознавать, что припасы никуда не делись из машины. Если я проголодаюсь, то попробую их найти, хотя, конечно, у еды и питья есть свои минусы. То, что вошло, должно выйти, а я еще не придумал, как это сделать. Мои ходунки на зад-

нем сиденье, и если я шагну на склон, то кювет станет моей могилой. Учитывая полученные мною повреждения, зов природы — не первоочередная проблема.

Кстати, об аварии. Я мог бы, наверное, сочинить захватывающую историю про ненастную погоду или про злобного водителя, который заставил меня свернуть в кювет, но на самом деле все было не так. Случилось вот что: стемнело, пошел снег, с каждой минутой все сильнее, и внезапно дорога просто исчезла. Наверное, я свернул — я говорю «наверное», потому что не видел поворота, — и в следующую секунду пробил ограждение и покатился вниз по крутому склону. И вот сижу здесь, один и в темноте, и гадаю, светит ли мне стать героем сюжета на «Погодном канале».

Сквозь ветровое стекло ничего не видно. В теле вспыхивает мучительная боль, но я включаю стеклоочистители, хоть без особой надежды, и они вдруг принимаются сгребать снег, оставляя за собой тонкий слой льда. Это просто чудесно, но я неохотно выключаю щетки, а задно и фары — оказалось, они горели до сих пор. Напоминаю себе, что нужно сохранять оставшийся заряд аккумулятора, на тот случай если придется сигналить.

Я устраиваюсь поудобнее и чувствую, как огненная вспышка пронизывает руку от локтя до ключицы. В глазах темнеет. Какая нестерпимая мука. Я вдыхаю и выдыхаю, ожидая, когда боль пройдет. Господи, пожалуйста. Остается молиться, чтобы не кричать... но внезапно становится легче. Я дышу ровно и стараюсь сдерживать слезы, а когда наконец боль отступает, ощущаю страшное изнеможение. Я готов заснуть навеки. Глаза закрываются. Я очень устал.

Как ни странно, я думаю о Дэниэле Маккаллуме. Вспоминаю подарок, который он нам оставил. Соскальзывая в темноту, я лениво задумываюсь, сколько времени пройдет, прежде чем кто-нибудь меня обнаружит.

\* \* \*

— Айра.

Я слышу во сне какой-то невнятный звук, словно нахожусь под водой. Проходит несколько секунд, прежде чем я понимаю, что кто-то зовет меня по имени. Но это же невозможно.

— Проснись, Айра.

Я открываю глаза. На сиденье рядом со мной — Рут, моя жена.

— Это не сон, — говорю я, по-прежнему лежа головой на руле. Без очков, которые свалились во время столкновения, ее черты расплываются, как у призрака.

— Ты слетел в кювет.

Я безмолвно моргаю.

— Со мной чуть не столкнулся какой-то ненормальный. Машину занесло на льду. У меня отличная реакция, не то было бы хуже.

— Ты съехал с дороги, потому что слеп как крот и слишком стар, чтобы водить машину. Сколько раз я говорила, что тебе опасно садиться за руль?

— Ни разу.

— И напрасно. Ты даже не заметил поворот. — Она замолкает. — У тебя кровь идет.

Приподняв голову, я вытираю здоровой рукой лоб и вижу, что ладонь алого цвета. Красные пятна — на руле и на приборной панели. Интересно, сколько крови я потерял?

— Знаю.

— Ты сломал руку и ключицу, и повредил плечо.

— Знаю, — повторяю я. Когда я моргаю, Рут то появляется, то исчезает.

— Тебе нужно в больницу.

— Не стану спорить.

— Я волнуюсь, правда.

Я медленно вдыхаю и выдыхаю, прежде чем ответить.

— Я тоже.

Моей жены Рут нет в машине, это факт. Она умерла девять лет назад, и в тот день я понял, что моя жизнь остановилась. Я позвал ее, сидя в гостиной, а когда она не ответила, встал с кресла и направился в спальню. Тогда я еще мог передвигаться без ходунков, хотя и не быстро. Добравшись до места, я увидел, что Рут лежит на полу рядом с кроватью, на правом боку. Я вызвал скорую, опустился на колени рядом с женой, перевернул ее на спину, пощупал пульс и ничего не ощутил. Прижавшись губами ко рту Рут, я стал дышать — так, что чуть сам не потерял сознание, — но тщетно. Я целовал Рут в губы и в щеки и держал в объятиях, пока не приехала скорая. Женщина, с которой я прожил пятьдесят пять лет, умерла, и в мгновение ока исчезло все, чем я дорожил.

— Что ты здесь делаешь? — спрашиваю я.

— Ничего себе вопрос! Я здесь из-за тебя.

Ну конечно.

— И долго я лежал без сознания?

— Не знаю, — отвечает она. — Уже стемнело. Кажется, ты мерзнешь.

— Мне постоянно холодно.

— Но не настолько.

— Да, — соглашаюсь я. — Не настолько.

— Что ты делал на этой дороге? Куда ехал?

Я пытаюсь шевельнуться, но воспоминание о мучительной боли меня останавливает.

— Ты же знаешь.

— Да, — говорит она. — В Черные горы. Где мы провели медовый месяц.

— Я хотел съездить туда в последний раз. Завтра наша годовщина.

Она отвечает не сразу.

— По-моему, у тебя что-то с памятью. Мы поженились в августе, а не в феврале.

— Не та годовщина. Другая.

Ей незачем знать, что, если верить доктору, я не протяну до августа.

— Ты о чем? Никакой другой годовщины нет. Она одна.

— Я имею в виду день, когда моя жизнь изменилась навсегда, — объясняю я. — Тот день, когда мы познакомились.

Рут молчит. Она знает, что я говорю искренне, но в отличие от меня ей трудно выражать подобные вещи словами. Ее любовь была огромна, но Рут выражала свои чувства в прикосновениях, в легких касаниях губ, в выражении лица. А когда я особенно в этом нуждался, то и в письмах.

— Шестого февраля 1939 года, — напоминаю я. — Ты ходила за покупками с матерью, и вы зашли к нам в магазин. Твоя мать, Элизабет, хотела купить шляпу отцу.

Рут откидывается на спинку сиденья, не сводя с меня глаз.

— Ты вышел из задней комнаты, — произносит она. — Потом появилась твоя мама...

Я внезапно вспоминаю: да, так оно и было. Рут всегда отличалась необыкновенной памятью.

Как и родители моей матери, семья Рут приехала из Вены, но в отличие от нас они эмигрировали в Америку всего два месяца назад. Они бежали, когда Гитлер насильственно включил Австрию в состав рейха. Отец Рут, Якоб Пфедфер, профессор-искусствовед, знал, что сулит евреям возвышение Гитлера; он продал все имущество и дал взятку кому нужно, чтобы гарантировать своей семье свободу. Выбравшись за границу, в Швейцарию, они отправились в Лондон, а потом в Нью-Йорк, прежде чем наконец уехать в Северную Каролину. Кто-то из родственников Якоба держал мебельную мастерскую в нескольких кварталах от магазина моего